

Григорию Лукьяновичу
Скуратову-Бельскому
по прозвищу Малюта

*Сон все тот же: иду по полю бес-
крайнему, русскому, за горизонт уходящему, вижу
белого коня впереди, иду к нему, чую, что конь
этот особый, всем коням конь, красавец, ведун, бы-
строног; поспешаю, а догнать не могу, убыстряю
шаг, кричу, зову, понимаю вдруг, что в том коне —
вся жизнь, вся судьба моя, вся удача, что нужен он
мне как воздух, бегу, бегу, бегу за ним, а он все так
же неспешно удаляется, ничего и никого не замечая,
навсегда уходит, уходит от меня, уходит навеки,
уходит бесповоротно, уходит, уходит, уходит...*

Мое мобило будит меня:

Удар кнута — вскрик.

Снова удар — стон.

Третий удар — хрип.

Поярок записал это в Тайном приказе, когда пы-
тали дальневосточного воеводу. Эта музыка разбу-
дит и мертвого.

— Комяга слушает, — прикладываю холодное мобило к сонно-теплому уху.

— Здравы будьте, Андрей Данилович. Коростылев тревожит, — оживает голос старого дьяка из Посольского приказа, и сразу же возле мобилы в воздухе возникает усато-озабоченное рыло его.

— Чего надо?

— Осмелюсь вам напомнить: сегодня ввечеру прием албанского посла. Требуется обстояние дюжины.

— Знаю, — недовольно бормочу, хотя, по-честному, — забыл.

— Простите за беспокойство. Служба.

Кладу мобило на тумбу. Какого рожна посольский дьяк напоминает мне про обстояние? Ах да... теперь же посольские правят обряд омовения рук. Забыл... Не открывая глаз, свешиваю ноги с постели, встряхиваю голову: тяжела после вчерашнего. Нащупываю колокольчик, трясу. Слышно, как за стеной Федька спрыгивает с лежанки, суетится, звякает посудой. Сижу, опустив неготовую проснуться голову: вчера опять пришлось принять по полной, хотя дал зарок пить и нюхать только со своими, клал 99 поклонов покаянных в Успенском, молился святому Вонифатию. Псу под хвост! Что делать, ежели окольничьему Кириллу Ивановичу я не могу отказать. Он умный. И горазд на мудрые советы. А я, в отличие от Поярка и Сиволая, ценю в людях умное начало. Слушать премудрые речи Кирилла

Ивановича я могу бесконечно, а он без кокоши неразговорчив...

Входит Федька:

— Здравы будьте, Андрей Данилович.

Открываю глаза.

Федька стоит с подносом. Роба его, как всегда с утра, помята и нелепа. На подносе традиционное для похмельного утра: стакан белого квасу, рюмка водки, полстакана капустного рассола. Выпиваю рассол. Щиплет в носу и сводит скулы. Выдохнув, опрокидываю в себя водку. Подступают слезы, размывая Федькину рожу. Вспоминается *почти* все — кто я, где и зачем. Медлю, осторожно вдыхая. Запиваю водку квасом. Проходит минута Неподвижности Великой. Отрыгиваю громко, со стоном нутряным. Отираю слезы. И теперь вспоминаю уже все.

Федька убирает поднос и, опустившись на колени, подставляет руку. Опираюсь, встаю. От Федьки утром пахнет хуже, чем вечером. Это — *правда* его тела, и от нее никуда не денешься. Розги тут не помогают. Потягиваясь и кряхтя, иду к иконостасу, затепливаю лампадку, опускаюсь на колени. Читаю молитвы утренние, кладу поклоны. Федька стоит позади, позевывает и крестится.

Помолившись, встаю, опираясь на Федьку. Иду в ванную. Омываю лицо приготовленной колодезной водою с плавающими льдинками. Гляжусь в зеркало. Лицо опухло слегка, воскрылия носа

в синих прожилках, волосы всклокочены. На висках первая седина. Рановато для моего возраста. Но — служба наша такая, ничего не попишешь. Тяжкое дело государственное...

Справив большую и малую нужду, забираюсь в джакузи, включаю программу, откидываю голову на теплый, удобный подголовник. Смотрю в потолок на роспись: девки, собирающие вишню в саду. Это успокаивает. Гляжу на девичьи ноги, на корзинки со спелой вишней. Вода заполняет ванну, вспенивается воздухом, бурлит вокруг моего тела. Водка внутри, пена снаружи постепенно приводят меня в чувство. Через четверть часа бурление прекращается. Лежу еще немного. Нажимаю кнопку. Входит Федька с простыней и халатом. Помогает мне вылезти из джакузи, оборачивает простыней, кутает в халат. Прохожу в столовую. Там Танюшка уже сервирует завтрак. На стене поодаль — пузырь вестевой. Даю голосом команду:

— Новости!

Вспыхивает пузырь, переливается голубо-бело-красным флагом Родины с золотым орлом двуглавым, звенит колоколами Ивана Великого. От хлебнув чаю с малиной, просматриваю новости: на северокавказском участке Южной стены опять воровство приказных и земских, Дальневосточная труба так и будет перекрыта до челобитной от японцев, китайцы расширяют поселения в Красноярске и Новосибирске, суд над менялами из Ураль-

ского казначейства продолжается, татары строят к Юбилею Государя умный дворец, мозгляки из Лекарской академии завершают работы над геном старения, Муромские Гусяры дадут два концерта в Белокаменной, граф Трифон Багратионович Голицын побил свою молодую жену, в январе в Свято-Петрограде на Сенной пороть не будут, рубль к юаню укрепился еще на полкопейки.

Танюшка подает сырники, пареную репу в меду, кисель. В отличие от Федьки, Танюшка благолепна и благоуханна. Юбки ее приятно шелестят.

Крепкий чай и клюквенный кисель окончательно возвращают меня к жизни. Спасительный пот прошибает. Танюшка протягивает мне ею же расшитое полотенце. Я отираю лицо свое, встаю из-за стола, крещусь, благодарю Господа за пищу.

Пора приступать к делам.

Пришлый цирюльник уже ждет в платяной. Следую туда. Молчаливый, приземистый Самсон с поклоном усаживает меня перед зеркалами, массирует лицо, натирает шею лавандовым маслом. Руки у него, как у всех цирюльников, малоприятные. Но я принципиально не согласен с циником Мандельштамом — власть вовсе не «отвратительна, как руки брадобреля». Власть прелестна и притягательна, как лоно нерожавшей златошвейки. А руки брадобреля... что поделаешь — бабам наших бород брить не положено. Самсон пускает мне на щеки пену из оранжевого баллончика «Чингисхан», пре-

дельно аккуратно размазывает, не касаясь моей узкой и красивой бороды, берется за бритву, размашисто правит ее на ремне, прицеливается, поджав нижнюю губу, и начинает ровно и плавно снимать пену с моего лица. Смотрю на себя. Щеки уже *не очень* свежи. За эти два года я похудел на полпуда. Синяки под глазами стали нормой. Все мы хронически недосыпаем. Прошлая ночь — не исключение.

Сменив бритву на электрическую машинку, Самсон ловко поправляет секирообразный островок моей бороды.

Я сурово подмигиваю себе: «С добрым утром, Комяга!»

Малоприятные руки кладут на лицо горячую салфетку, пропитанную мятой. Самсон тщательно вытирает мое лицо, румянит щеки, завивает чуб, лакирует, щедро сыплет на него золотую пудру, вдевает в правое ухо увесистую золотую серьгу — колокольчик без языка. Такие серьги носят только наши. И никакая земская, приказная, стрелецкая, думская или столбовая сволочь даже на маскарад рождественский не посмеет надеть такой колокольчик.

Самсон опрыскивает мою голову «Диким яблоком», молча кланяется и выходит — он сделал свое цирюльное дело. Тут же возникает Федька. Морда его по-прежнему помята, но он уже успел сменить рубаху, почистить зубы и вымыть руки. Он готов к процессу моего облачения. Прикладываю ладонь к замку платяного шкапа. Замок пищит, подмиги-

вает красным огоньком, дубовая дверь отъезжает в сторону. Каждое утро вижу я все свои восемнадцать платьев. Вид их бодрит. Сегодня обычный будний день. Стало быть — рабочая одежда.

— Деловое, — говорю я Федьке.

Он вынимает платье из шкапа, начинает одевать меня: белое, шитое крестами исподнее, красная рубаха с косым воротом, парчовая куртка с куньей оторочкой, расшитая золотыми и серебряными нитями, бархатные порты, сафьяновые красные сапоги, кованные медью. Поверх парчовой куртки Федька надевает на меня долгополый, подбитый ватой кафтан черного грубого сукна.

Глянув на себя в зеркало, закрываю шкап.

Иду в прихожую, гляжу на часы: 8:03. Время терпит. В прихожей меня уже ждут провожатые: нянька с иконою Георгия Победоносца, Федька с шапкой и поясом. Надеваю шапку черного бархата с соболиной оторочкой, даю себя подпоясать широким кожаным ремнем. На ремне — слева кинжал в медных ножнах, справа «Реброфф» в деревянной кобуре. Нянька между тем крестит меня:

— Андрюшенька, храни тебя Пресвятая Богородица, святой Никола и все Оптинские старцы!

Острый подбородок ее трясется, голубенькие слезящиеся глазки смотрят с умилением. Я крещусь, целую икону святого Георгия. Нянька сует мне в карман молитву «Живый в помощи Вышняго», вышитую матушками Новодевичьего монастыря зо-

лотом на черной ленте. Без этой молитвы я на дела не езжу.

— Победу на супротивных... — бормочет Федька, крестясь.

Из черной горницы выглядывает Анастасия: красно-белый сарафан, русая коса на правом плече, изумрудные глаза. По заалевшим ланитам видать: волнуется. Опустила очи долу, поклонилась стремительно, тряхнув высокой грудью, скрылась за косяком дубовым. А у меня сразу *всплеск* сердечный от поклона девичьего: позапрошлая ночь темнотой парною распахнулась, стоном сладким в ушах ожила, теплым телом девичьим прижалась, зашептала жарко, кровушкой по жилам побежала.

Но — дело поперву.

А дел сегодня — невпроворот. И еще этот посол албанский...

Выхожу в сенцы. Там уж вся челядь выстроилась — скотницы, кухарка, повар, дворник, псарь, сторож, ключница:

— Здравы будьте, Андрей Данилович!

Кланяются в пояс. Киваю им, проходя. Скрипят половицы. Отворяют дверь кованую. Выхожу на двор. День солнечный выдался, с морозцем. Снега за ночь подсыпало — на елях, на заборе, на башенке сторожевой. Хорошо, когда снег! Он срам земной прикрывает. И душа чище от него делается.

Щурясь на солнце, оглядываю двор: амбар, сенник, хлев, конюшня — все справное, добротное.

Рвется кобель лохматый на цепи, повизгивают борзые в псарне за домом, кукарекает петух в хлеву. Двор выметен чисто, сугробы аккуратные, как куличи пасхальные. У ворот стоит мой «мерин» — алый, как моя рубаха, приземистый, чистый. Блестит на солнце кабиною прозрачной. А возле него конюх Тимоха с песьей головой в руке ждет, кланяется:

— Андрей Данилович, утвердите!

Показывает мне голову собачью на нынешний день: косматый волкодав, глаза закатились, язык инеем тронут, зубы желтые, сильные. Подходит.

— Валяй!

Тимоха ловко пристегивает голову к бамперу «мерина», метлу — к багажнику. Прикладываю ладонь к замку «мерина», крыша прозрачная вверх всплывает. Усаживаюсь на полулежащее сиденье черной кожи. Пристегиваюсь. Завожу мотор. Тесовые ворота передо мной растворяются. Выезжаю, несусь по узкой прямой дороге, окруженной старым заснеженным ельником. Красота! Хорошее место. Вижу в зеркало свою усадьбу удаляющуюся. Добрый дом, с душой. Всего семь месяцев живу в нем, а чувство такое, что родился и вырос тут. Раньше имение принадлежало товарищу менялы из Казначейского приказа Горохову Степану Игнатьевичу. Когда он во время Великой Чистки Казначейской впал в немилость и *оголился*, мы его и прибрали к рукам. В то лето горячее много

казначейских голов полетело. Боброва с пятью приспешниками в клетке железной по Москве возили, потом секли батогами и обезглавили на Лобном месте. Половину казначейских выслали из Москвы за Урал. Работы много было... Горохова тогда, как и положено, сперва мордой по навозу вывозили, потом рот ассигнациями набили, зашили, в жопу свечку воткнули да на воротах усадьбы повесили. Семью трогать было не велено. А имение мне отписали. Справедлив Государь наш. И слава Богу.

Дорога направо сворачивает.

Выезжаю на Рублевый тракт. Хорошая дорога, двухэтажная, десятиполосная. Выруливаю в левую красную полосу. Это наша полоса. Государственная. Покуда жив и при деле Государевом — буду по ней ездить.

Расступаются машины, завидя красный «мерин» опричника с собачьей головой. Рассекаю со свистом воздух подмосковный, давлю на педаль. Постовой косится уважительно. Командую:

— Радио «Русь».

Оживает в кабине мягкий голос девичий:

— Здравы будьте, Андрей Данилович. Что желаете послушать?

Новости я все уже знаю. С похмелья хорошей песни душа просит:

— Спойте-ка мне про степь да про орла.

— Будет исполнено.

Вступают гуслиеры плавно, бубенцы рассыпаются, колокольчик серебряный звенит, и:

Ой ты, степь широкая,
Степь раздольная,
Широко ты, матушка,
Протянулася.

Ой, да не степной орел
Подымается.
Ой, да то донской казак
Разгуляется.

Поет Краснознаменный Кремлевский хор. Мощно поет, хорошо. Звенит песня так, что слезы наворачиваются. Несется «мерин» к Белокаменной, мелькают деревни да усадьбы. Сияет солнце на елках заснеженных. И оживает душа, очищается, высокого просит...

Ой, да не летай, орел,
Низко по земле,
Ой, да не гуляй, казак,
Близко к берегу!

С песней бы так и въехал в Москву, да прерывают. Звонит Посоха. Его холеная харя возникает в радужной рамке.

— А, чтоб тебя... — бормочу, убирая песню.

— Комяга!

— Чего тебе?

— Слово и Дело!

— Ну?

— Осечка у нас со столбовым.

— Как так?

— Крамолу ему ночью не сумели подкинуть.

— Да вы что?! Чего ж ты молчал, куриная голова?

— Мы до последнего ждали, но у него охрана знатная, три колпака.

— Батя знает?

— Не-а. Комяга, скажи ты Бате сам, я стараюсь. Он на меня еще из-за посадских зол. Страшуся. Сделай, за мной не закиснет.

Вызываю Батю. Широкое рыжебородое лицо его возникает справа от руля.

— Здравствуй, Батя.

— Здорово, Комяга. Готов?

— Я-то всегда готов, Батя, а вот наши опростоволосились. Не сумели столбовому крамолу подкинуть.

— А и не надо теперь... — Батя зеваает, показывая здоровые, крепкие зубы. — Его и без крамолы валить можно. Голый он. Токмо вот что: семью не калечить, понял?

— Понял, — киваю я, убираю Батю, включаю Посоху. — Слышал?

— Слышал! — облегченно щерится он. — Слава тебе, Господи...

- Господь тут ни при чем. Государя благодари.
- Слово и Дело!
- И не запаздывай, гулена.
- Да я уж тут.

Сворачиваю на Первый Успенский тракт. Здесь лес еще повыше нашего: старые, вековые ели. Много они повидали на своем веку. Помнят они, помнят Смуту Красную, помнят Смуту Белую, помнят Смуту Серую, помнят и Возрождение Руси. Помнят и Преображение. Мы в прах распадемся, в миры иные отлетим, а славные ели подмосковные будут стоять да ветвями величавыми покачивать...

М-да, вон оно как со столбовыми оборачивается! Теперь уже и крамолы не надобно. На прошлой неделе так с Прозоровским вышло, теперь с этим... Круто Государь наш за столбовых взялся. Ну и правильно. Снявши голову, по волосам не плачут. Взятся за гуж — не говори, что не дюж. А коли замахнулся — руби!

Вижу двоих наших впереди на красных «меринах». Догоняю, сбавляю скорость. Едем цугом. Сворачиваем. Едем еще немного и упираемся в ворота усадьбы столбового Ивана Ивановича Куницына. У ворот восемь наших машин. Посоха здесь, Хруль, Сиволай, Погода, Охлоп, Зябель, Нагул и Крепло. Батя *коренных* на дело послал. Правильно, Батя. Куницын — крепкий орех. Чтобы его расколоть, сноровка требуется.

Паркуюсь, выхожу из машины, открываю багажник, достаю свою дубину тесовую. Подхожу к нашим. Стоят, ждут команды. Бати нет, значит, я за старшего. Здороваемся по-деловому. Гляжу на забор: по периметру в ельнике — стрельцы из Тайного приказа, нам на подмогу. Обложена усадьба со всех сторон еще с ночи по приказу Государеву. Чтобы мышшь зловредная не пробежала, чтобы комар злокозненный не пролетел.

Но крепки ворота у столбового. Поярок звонит в калитку, повторяет:

— Иван Иваныч, открывай. Открывай подобиру-поздорову!

— Без думских дьяков не войдете, душегубы! — раздается в динамике.

— Хуже будет, Иван Иваныч!

— Хуже мне уже не будет, пес!

Что верно — то верно. Хуже только в Тайном приказе. Но туда Ивану Ивановичу уж и не надобно. Обойдемся сами. Ждут наши. Пора!

Подхожу к воротам. Замирают опричники. Бью по воротам дубиной первый раз:

— Горе дому сему!

Бью второй раз:

— Горе дому сему!

Бью в третий раз:

— Горе дому сему!

И зашевелилась опричина:

— Слово и Дело! Гойда!